МИРЫ Г. Л. ОЛДИ

ГЕНРИ ЛАЙОН

ОЛДИ

ПЕСНИ ПЕТЕРА СЬЛЯДЕКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФЭНТЕЗИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Идет по путям-дорогам лютнист Петер Сьлядек, раз за разом обреченный внимать случайным исповедям: пытаются переиграть судьбу разбойник, ученик мага и наивная девица, кружатся в безумном хороводе монах и судья, джинн назначает себя совестью ушлого купца, сын учителя фехтования путает слово и шпагу, железная рука рыцаря-колдуна ползет ночью в замковую часовню, несет ужас солдатам-наемникам неуловимый Аника-воин, и, наконец, игрок в сером предлагает Петеру сыграть в последнюю игру.

Великий дар – умение слушать.

Тяжкий крест – талант и дорога.

- Генри Лайон Олди
  - ○

Генри Лайон Олди
Аз воздам

"Пребывая в сей глухомани, откуда уж и не чаял вырваться без ущерба душевному здоровью, услышал я от местных жителей престранную историю. Дескать, имеется в Лелюшьих горах, в местах отдаленных и труднодоступных, некое селение, где неизменно проживают один-два, а временами и больше селян, испытывающих от соотечественников великий почет и уважение, ничем не объясняемое. Ибо ни знатностью рода, ни властью, ни иными заслугами и добродетелями эти счастливцы не обладают.

Спросив же о причинах и услышав ответ, долго дивился я чудным суевериям здешних горцев, не пивших из ключа просвещения…"

Из личной переписки: «Барон Карл Фридрих Иеронимус фон Мюнхгаузен-ауф-Боденвердер – Рудольфу-Эриху Распе и Готфриду-Августу Бюргеру»

Воздастся по вере,
В молитве и в блуде.
Пускай мы не звери,
Но разве мы люди?
Вы – были.
Мы – будем.
Вы – стены и будни.
Мы – праздник и двери.

Ниру Бобовай

Куцая и бестолковая, как щенок дворняжки, ярмарка валялась

на лугу кверху брюхом. Вымаливала ласку: «Кто почешет?!» Чесали все, кому не лень. Деньги здесь были не в почете, из монет обычно вязали мониста, для девичьей красы, а посему меняли больше товар на товар. Холст на веревки, вервие на овчину, косматые шкуры на лемехи, соху на серпы, жатки на сыр, сыр катался в масле, а масло после долгого торга оборачивалось сальной горкой свечей и двумя поясами в придачу. Били по рукам, спорили до хрипоты, бранились всласть, с остервенением, выпучив жабьи глаза. Ближе к реке цыган в малиновой, латаной-перелатаной рубахе и без штанов продавал кобылу мужичку-хитровану, надвинувшему картуз на самые брови. Нашла коса на камень! – ор стоял до небес. Кобыла, явно ворованная, причем совсем недавно, ибо сохранила здоровую упитанность, злобно показывала зубы. Даже когда не просили, скалилась, зараза.

Видать, глумилась над всеми подряд.

Петеру менять было нечего и не на что. Махнем тощее брюхо на косой взгляд? В этой глуши, зажатой между отрогами Поциновицы и хребтом Галатравы, как девку-перестариху зажимают у плетня хмельные и оттого неразборчивые парни, лютнист скитался третью неделю. Народ здесь обретался жадный и скучный. Песни слушал с серьезной озабоченностью, будто пни корчевал, музыки без слов, предпочтительно бранных, не признавал вовсе, полагая сие убожество никчемным сотрясением воздуха, а после любовных канцон хмыкал и шел прочь, сплевывая со значением. Сельские волынщики, гнусавые и нудные, как их инструменты (да и напевы, если честно…), намекали сопернику: «Искалечим! Пшел вон, однозимец!» На свадьбах много пили, ели в три горла. Взамен плясок и распевных здравиц стуча кулачищами в стол; в лучшем случае затевали спор, чей подарок дороже.

Краюху хлеба кинут – счастье.

На ночлег пустят, в хлев – праздник.

Последние три дня не кидали и не пускали. Напротив, гнали взашей, грозя спустить собак. В голову лезли подлые мысли: побираться? красть? Увы, с милостыней дело обстояло еще хуже, нежели с платой за искусство, а красть Сьлядек не умел и знал за собой такую беду. Попадешься, станут бить. Ребра сломают, нутро испортят. Или насмерть затопчут, скупердяи: человечка за курицу задавить, это им дело плевое. Можно сказать, святое дело. Выбредя к ярмарке, он сперва обрадовался, рассчитывая спуститься вниз по Брыхте, пенной и вертлявой, словно ведьма на помеле, вместе с плотогонами, теша их песнями, – или примкнуть к торговым возам, делая любую работу за право сидеть днем на телеге, а вечером у котла с кулешом. Идти дальше означало

забираться в горы, дубовые леса Градека и ущелья Козины, а с горами у бродяги были давние счеты. Велика радость – сдохнуть от голода под скалой, достаться в зубы пастушьим овчаркам или, надрываясь, веселить злых разбойников-душегубов? Люди добрые, люди хорошие, возьмите, спасите, вывезите, я в долгу не останусь!.. Жаль, ноги с голодухи держали скверно, и в щеки вступила синяя, восковая бледность. Кому нужен хоть весельчак, хоть работник, ежели ветер дует, а он качается?

Даже самому себе бродяга не хотел признаться, что не голод, не усталость, не жадность здешних скряг служили главной причиной душевного расстройства. Все это вместе рождало в сердце гнойную занозу: а может, ты, братец, и впрямь бездельник? Ходишь-бродишь, коптишь белый свет! – сквозняк, бестолочь, пустой человечишка?.. Должно быть, так. Помрет некий Петер Сьлядек в роще, на свежем воздухе, отлетит душа в дальние эмпиреи, спросят душу грозным спросом: «Пел, стрекозел? На струнах бряцал? Стишки плел? Иди, покумекай на сковородке о житье-бытье, о хлебе насущном, который в поте лица!» Гадкие роились мыслишки, ядовитые, хуже шершней.

– Сапоги! Кому сапоги!

Под тополем, что серебряной пикой ударил в мякоть неба, купалась в зависти и вожделении главная ценность ярмарки: сапоги. До колен, из мягчайшей юфти, выделанной на чистом дегте. Подбор высок, для щеголей, голенища «гармошкой», подковки со множеством гвоздей по всей подошве. Роскошь! К сапогам приценивались многие. Чесали в затылках, глядели в облака, надеясь, что оттуда добрый боженька скинет грошик недостачи; грустно сморкались мимо товара и шли прочь. Петер сперва умостился рядом, достав лютню; но вскоре, при полном безразличии народа отыграв «Славицу», три плясовые и «Ой, цветет вишня!», уразумел: смысла продолжать нет. Встать тоже не получилось. Усталые ноги превратились в чулки: вялые, шерстяные. Колючие. Надеть можно, в угол швырнуть можно, а ходить нельзя.

Пропадаю, затосковал Сьлядек. Как есть пропадаю.

Особого восторга эта мысль не вызвала, хотя и вытеснила рой мерзких шершней, жужжавших: «Без-з-здельник! Без-з-здарь!..» И на том спасибо. Мрачен, утонув в головокружении, бродяга следил, как вокруг сапог вертится людская карусель, завидуя и сокрушаясь. От возов тянуло жареной гусятиной, пивным духом солода, там на углях пекли рыбу, измазав ее глиной, томили бараньи ребрышки в меду, упрятав на дно казана и завалив поверх резаной репой, там пили молоко из глечиков, мазали усы сметаной, и толстые ломти сыра перемалывались жерновами

крепких челюстей… эх, там!.. ах, там!.. ох… Бродяга засыпал, плавал в душной дреме, мечтая о еде, и очень не хотелось спать вечно, мечтать вечно, чувствуя, как кишки скручиваются жгутами, зарастая изнутри страшной плесенью голода…

– О! Сапожцы! Знатные сапожцы!

– Первый сорт!

– Дорого просишь, небось?

– Обижаете! Для вас – полцены!

Было в вопросе и ответе, столь обыкновенных, что скулы сводило, нечто удивительное. Будто в женской, сдобной пазухе, которой детей кормить да парней с ума сводить, сверкнул укрытый до поры ножевой клинок. Даже голод слегка изумился, впустую щелкнув клыками; даже сон-обманщик взбил вихор, отступил на шаг, разглядывая нового покупателя. Им оказался сытый, румяный дядька в летах. Подбоченясь, толстун любовался обувкой. Рядом вертелась голенастая девчонка, дочь или внучка, и хмурый жердяй в нагольном кожухе, несмотря на зной. Очнувшись, Петер невпопад задумался, что так зацепило его в случайном разговоре. Выходило, что ерунда, пустяк, как пустячен камешек, с какого начинается обвал в горах. В вопросе пряталась странная подковырка, а в ответе – искренность, невозможная для торговца.

В руках дядька держал чекан, малый топорик на буковом древке. Здешние мужчины-женатики все расхаживали с такими, украшая верхнюю часть чеканов резьбой по металлу и шляпками гвоздей. На свадьбу, крестины, в дальние поездки и на летние выпасы без эдакой штуки серьезному хозяину являться нельзя: засмеют. С чекана взгляд Петера соскользнул на плечо дядьки, далее на широкий рукав куртки…

На рукаве, выше локтя, был косо нашит знак: желтая ладонь врастопырку. Значит, у дядьки имелось три ладони – две свои, урожденные, и еще одна, кожаная. Для красоты, должно быть. Он и так разоделся франтом, не по возрасту и чину: кипяченая в масле, рубаха-непромокайка у ворота застегнута медной запонкой с цепочками, баранья шапка в бляшках и раковинках. Белые штаны с лазоревыми и алыми завязками дядька заправил в онучи, а на ногах его красовались керпцы из цельного куска кожи. Выходило, для полного счастья пожилому щеголю не хватает только сапог, а там хоть трава не расти, хоть кура не несись!

Наслаждаясь видом сапожек, дядька ухватил с ближайшего воза хлебец, густо усыпанный тмином. Сунул в рот, зачавкал. Ужасаясь, Петер Сьлядек ждал скандала: сомнут, затопчут! Если повезет, всего лишь обложат крепкой бранью. Ничуть не бывало: владелец хлебца захохотал с радостью, столь честной и

сердечной, что она могла вызвать у стороннего зрителя умопомрачение, и пододвинул к дядьке ближе второй хлебец. Дядька сжевал и второй, забыв поблагодарить. Сбоку ему ткнули вяленого карася – схарчил рыбешку за компанию, с костями и чешуей. Видимо, сильно задумался. Юркий малец исподтишка сунулся в дядькину суму. Сьлядек поначалу решил: «Воришка!» – ан нет! Малец тихонько оставил в суме обгрызенный калач, потом взял у счастливой бабы лепешку с сыром, тоже, больше не таясь, запихал в суму и удрал, приплясывая. Баба кланялась вслед мальчишке, будто тот помог ей, хворой, в светлый праздник дойти до церкви.

Через минуту дядька на самом деле купил сапоги за полцены.

Не торгуясь.

А Петер Сьлядек решил, что от голода видит сон наяву.

Вокруг радовались люди, без малейшей зависти помогая дядьке снять керпцы и надеть «сапожцы». Кто-то наливал франту пива, требуя спрыснуть обнову, кто-то уговаривал закусить гусиным боком. Голенастую девчонку гладили по голове, жердяя оттеснили прочь, занятые важным, безотлагательным делом – сделать румяному дядьке хорошо, совсем хорошо и еще лучше. Здесь не таилось угодливости, с какой низшие лебезят перед высшим, не крылось подхалимства или лести – ничуть! Все благодеяния делались с распахнутой душой, честно и трудолюбиво, можно сказать, деловито, будто народ строил дом, просторный и светлый, где собирался начать жить прямо с завтрашнего утра.

– Кто это?! – дурея, прошептал бродяга. – Горный Король?!

– Бери выше! Это Иржек Сторец!

Высокая, одетая по-мужски женщина ответила с равнодушием, едва взглянув на Петера. Так отвечают чужому, указывая путь, и сразу забывают о нем. Впрочем, на дядьку женщина смотрела также без особой приветливости, не спеша одарить его товаром или услугой, чем резко выделялась из толпы. В кожаных штанах, в тканой кацавейке без рукавов, накинутой поверх черной рубашки, покрыв голову плоской шляпой с узкими полями, она думала о чем-то своем, дальнем. Меж бровей женщины запала чудная складка, напоминая незнакомую букву. Или контур ладони, похожей на дядькин знак.

– Старец? Он же еще не старый!

– Сторец, глупый! А, ты издалека…

– Эй, однозимец! Играй! Плясать желаю!

Сперва Петер не поверил своему счастью. Это от голода. Это сон. Богатей, чуть не лопающийся от румянца, счастливчик, обласканный всеобщим почтением, желает плясать в новых

сапогах. И заказывает музыку не кому-то, а ему, пострадавшему от местной скаредности Петеру Сьлядеку. «Капризная Госпожа» кошкой вывернулась из чехла. Настроить лютню удалось быстро, несмотря на головокружение и сосущую пиявку, угнездившуюся во чреве. Одно бежало лютниста: кураж. Дело, пожалуй, крылось не в презрительном «однозимец!». Просто душа никак не желала просыпаться, задремывая, всхрапывая, из-под век наблюдая за происходящим остраненным взглядом сновидца. Ну и ладно. Играя без души, без сердца, одними пальцами, бродяга следил, как дядька топает правой ногой, затем левой, далее, выказав несвойственную возрасту и телосложению прыть, скачет через собственный чекан, ухватив его руками за древко и лезвие. Подпрыгивая, Иржек Сторец, замечательный, счастливый человек, скрещивал ноги в воздухе, подобно тому, как скрещивают пальцы на удачу.

Народ следил за пляской внимательно, наморщив лбы.

Словно на глазок прикидывал размер чужой радости.

Мало-помалу дядька оттанцовывал все дальше и дальше, спускаясь мимо возов к берегу Брыхты. Петер старался играть громче, чтоб танцору было слышно. «Капризная Госпожа» уже не пела: кричала, орала, вопила благим матом. Мелодия скатилась до нарочитой простоты, которая, как известно, хуже воровства, дозволив чистому ритму управлять прыжками и выкрутасами танцора. Лютнист недоумевал: какого рожна толстяк не желает плясать здесь? Но в поведении дядьки крылся явный умысел: дерзкий и опасный, судя по поведению толпы. Чем ближе он подходил к реке, тем отчетливей в молчании народа звенело осуждение и страх. Будто Иржек Сторец плясал на коньке крыши, ежесекундно рискуя свалиться вниз и сломать шею; на краю обрыва скакал он козлом, сумасброд, выказывая лихость и грозя сей же час свести счеты с жизнью.

Создавалось впечатление, что, сломав шею, Сторец тем самым отберет у окружающих важное имущество.

Навсегда.

– Дурень! – тихо сказала женщина, одетая по-мужски. – Чем шутишь?!

Разумеется, дядька ее не слышал. Он плясал. Оттаптывая новые сапоги, купленные по дешевке. Небо над ним нахмурилось, два облака сошлись, мрачнея, становясь тучами, двойной хмарью. Меж тучами залегла знакомая складка – пальцы чудной пятерни грозили сжаться в кулак, ударив молнией! Птицы, ранее кружившие мелкими стайками, начали сбиваться в одну, большую стаю, напомнившую лютнисту клин, какой вгоняют в трещину на пне, желая расколоть. «Батенька! – взвизгнула

голенастая девчонка. – Батенька, хватит!». В безмолвии толпы это прозвучало дико. Кто-то заворочался под Петером, в недрах земли; видать, земля тоже проголодалась, в ней угнездилась злорадная пиявка, присасываясь к требухе. Ветер метнулся над головами, горстями разбросав запах истлевшей травы и грибов, светящихся в ночной темноте. И дышать стало трудно. Лютня билась в руках. Плясал дядька. Молчали люди. Новые сапоги разбрасывали мокрую гальку у плотов, готовых к сплаву. Лютня. Дядька. Толпа. Река. Пляска…

– Батенька!

– Дурень! – одними губами шепнула женщина, похожая на мужчину. От нее пахло не грибным ветром, а июньской грозой, остро и пронзительно. – Все, край!

Дядька собрался было пойти вприсядку на плоты, но раздумал. Остановился. Пригладил мокрые волосы, подобрал шапку, которую потерял во время танца. И с нарочитой ленцой, нога за ногу, пошел обратно, строя уморительные рожи. Дразнился, подлец. Махнул дочке или внучке, дождался, пока голенастая догонит, поискал глазами жердяя.

– Ух, сапожцы! Самоплясы!

Толпа без единого слова глядела, как лихой плясун, счастливейший из смертных, уходит за возы. Где шипело, жарилось, томилось и разливалось в кружки. Видно, проголодался с устатку. Около ближайшей телеги Иржек Сторец обернулся, нашарил взглядом лютниста: «Однозимец! Порадовал!..» Петер привстал навстречу, искренне надеясь, что сейчас его позовут, угостят, утихомирят проклятый голод… Нет, дядька сразу забыл о музыканте, исчезая за возами. Не позвал, счастливый. Не кинул денежку, удачливый. Черствой коркой не пожаловал, почтенный. Так просто ушел, как и не бывало никакого Петера Сьлядека с его лютней. Хоть бы благодарностью оделил – и здесь нет. Всего лишь отметил, что его, дядьку Иржека со смешной фамилией Сторец, порадовали. Вот, значит, хорошо, если порадовали. Пускай теперь все радуются.

Петеру Сьлядеку было очень стыдно, но он заплакал от обиды.

Народ расходился по своим делам, ярмарка закипала вновь, а возле торговца сапогами сидел бродяга с лютней на коленях и плакал без звука, без слез. Как раньше играл одними пальцами, так сейчас рыдал одним сердцем. Голод, и тот отступил перед обидой. Тварь. Сволочь румяная. Поманил надеждой и уплясал, гадюка. Бранные слова, прежде чужие, неприятные, сейчас казались родными и близкими. Умру, и все равно буду мертвым ртом бранить гада Иржека.

– Ты чего? – присела рядом женщина. Запах грозы от нее делался слабее, исчезая.

– Гад! гад… жадюга… Я ему! играл!.. а он мне…

На немолодом, еще красивом лице женщины пробилось понимание.

– Бедняга… Он – тебе? Какая разница, что он – тебе, если ты – ему?! Ведь Иржек сказал: порадовал, мол! Чего ты еще хочешь, дурила?!

– Есть я хочу! С голоду помираю!

– Тогда пошли. Накормлю.

– У меня… мне нечем платить.

– Даром накормлю. Вставай! Или помочь?

– За что? – спросил Петер, силясь подняться. – Я ведь ему играл, не вам?

– За то, что ему играл, – непонятно ответила женщина. – За то, что его порадовал.

И добавила:

– За то, что он от края отступил.

Звали женщину Мирчей Хортицей. Это Петер узнал позже, когда Мирча, беспокоясь за его здоровье, силой отбирала у обжоры восьмую лепешку, третью миску с острым, как бритва, и невероятно вкусным паприкашем, пятую кружку пива и ломоть брынзы, увы, несчитанный. Имя-фамилия оказались впору, словно хорошо сшитый наряд. В резком, гортанном рыке «Р-р-ча», чуть смягченном в начале женственным «Ми-и…», проглядывали характер и стать, а «хортицей» здесь звали гончую суку, поджарую, неутомимую в беге и безжалостную к добыче. Все это удивительно шло Мирче, ее мужскому костюму, строгому, даже суровому лицу и грубоватому милосердию, с каким она отнеслась к оголодавшему бродяге. Складывалось впечатление, что Мирча – нездешняя. Не могла родиться эта женщина среди дородных, медлительных скаредов, населявших Поциновицу и Галатраву. Даже среди горцев-пастухов Градека – не могла. Петер был уверен, что место рождения Мирчи Хортицы – рай. Где обитают святые. Тайком утащив яблоко, бродяга вгрызся в сочную мякоть, блаженно изнемогая от сытости. Сейчас он с уверенностью полагал себя самым счастливым человеком на свете, кому все должны искренне завидовать. Ну разве что Иржек Сторец счастливее. Потому что ему не завидуют – его любят.

Все.

Итогами размышлений Петер не замедлил поделиться с Мирчей.

– О да! – улыбнулась женщина, но брови ее сошлись, заставив складку-пятерню напрячься. – Ты на редкость проницателен,

музыкант! Я даже удивляюсь, как ты с такой проницательностью еще жив! Хочешь, я расскажу тебе историю о счастливых людях? Повесть о Сторцах и Сторицах?

Хочу, кивнул Петер Сьлядек.

И это было чистой правдой, потому что слушать истории о счастливых людях куда приятнее, чем всякие ужасы.

* * *

Рыжая белка испуганно метнулась вверх по стволу, затаилась в листве. Скрип колес, мерный перестук копыт, человеческие голоса. Ох, не к добру! От волнения белка принялась грызть жесткий прошлогодний желудь, но, завидев появившуюся из-за поворота телегу, тут же прекратила, настороженно глядя на незваных гостей.

Телегу тащила меланхоличная гнедая лошадка, чей облик и походка явственно выдавали принадлежность к школе философов-стоиков, берущей в свою очередь начало в школе философов-циников. Тот факт, что ни белка, ни лошадь, ни хозяева телеги и слыхом не слыхали о «царице наук», как именовал философию Филон Александрийский, современник Христа, возжелавший соединить Тору и воззрения древних греков, не имело в данный момент ни малейшего значения. В филонах ли радость жизни, если погода славная, птички щебечут, а колеса весело подпрыгивают, встретив замечательную колдобину?! На телеге, венчая груду нехитрого скарба, восседала молоденькая женщина, почти девочка, похожую на миловидную кудрявую овечку. Заметно округлившийся под платьем живот выдавал в ней будущую мать счастливого семейства. Счастье семейства, настоящее и грядущее, подтверждали мечтательная улыбка, не сходившая с губ женщины, и веселый прищур чернявого парня, ведшего под уздцы философическую лошадь. С первого взгляда становилось ясно: молодожены торопятся на новоселье, ожидая от переезда исключительно перемен к лучшему.

Отметим, что надежды юной четы отнюдь не были лишены оснований…

Чпок! Надгрызенный желудь стукнул парня – не мальчика, но мужа! – точнехонько по макушке. Парень озадаченно поднял взгляд. Белка сердито застрекотала с ветки: «Чего приперлись? А? Кто вас сюда звал?! Ходят всякие по лесу, ходят, а потом глядь – орехи пропали, грибов не сыщешь! Проваливайте! Не то шишкой добавлю!..»

В ответ на гневную тираду парень лишь рассмеялся, шутливо

погрозил пальцем рыжей проказнице и зашагал дальше. Путники направлялись в сердце Лелюшьих гор, обогнув Градек и двигаясь на перевал Мишулец, где ждала их цель кратких странствий. Даже лошади дорога, похоже, была не в тягость. А молодые супруги уверялись ежеминутно: сейчас, вместе с ними, поднимается в гору вся будущая жизнь, которая, собственно, только началась. Теперь, когда боженька оглянулся, одарив внезапным наследством, все будет просто замечательно! А как иначе? Вацлаву не надо больше ютиться в приймах, терпеть попреки сварливой тещи – пусть для Минки она и родная мама, а зятю эта мама хуже кости в горле. Ведь гол, как сокол, горшок с кашей, и тот Минкиных родителей…

Отныне – хватит!

Свой дом, свое хозяйство, никто тебе не указ. Эх, заживем!

Покойного дядю Юста было, конечно, жаль. Но совсем чуточку: виделись они редко, последний раз – на свадьбе. Жил дядя Юст бобылем, в Яблонце, за перевалом. Места глухие, но люди в Яблонце, по всему видать, обретались хорошие. Вот, гонца прислали, дядину волю передать. Обещали хозяйство до приезда наследников в сохранности держать, не дать дому впасть в запустение. Молодожены собрались быстро: кто ж от счастья откажется?! За год и нажили-то крошку с поварёшкой; лошадь с телегой у тестя в долг взяли. Потом вернуть надо будет, но это не беда. Гонец из Яблонца сказал: и лошадь вам от дяди-покойника досталась, и дом с огородом, и полоска на косогоре, и овец три дюжины, и гусей-уток навалом.

Не было гроша, и вдруг золотой!

Ползет назад заросшая колея, оставляя в прошлом дрязги-неурядицы. Впереди – небо без края, синее, праздничное; еще шаг – упадешь в него с криком восторга, растворишься… Поздняя весна соками бурлит, яблони-дички в цвету, невесты лесные. Дубы на красавиц любуются, шумят одобрительно темной зеленью. Птицы с ума посходили: каждая товарок перещебетать силится. Черный дрозд, молодчина, соловьем заливается. Никогда не скажешь, что дрозд. И на сердце легко.

– Слыхал, Вацек, чего про Яблонец сказывают?

– Ну?

– Будто люди там живут счастливые!

– Да?

– Балда! У этих людей в животе удача сидит, как ребеночек. Свернулась калачиком, дремлет. Чтоб себе удачу родить, надо такого за подол дернуть, тайком кукиш скрутить и слово правильное шепнуть…

– Мамаша, небось, наболтала? А, Минка?

Вацек на ходу обернулся, подмигнул жене.

– Вечно ты… – смутилась Минка. Даже на сносях, будущая мать и хозяйка, она смущалась по-детски, мгновенно, густо заливаясь краской. – Кто из Яблонца приедет, хоть в гости, хоть на ярмарку, все как на подбор: веселые, румяные. А одеты так, что нашего войта завидки берут! Неспроста, говорю тебе!

– Куда уж спроста! Наш войт у нищего дурачка бублик увидит, его завидки берут! А на Смерть-Тещиной горе, слыхала, змеюка шестикрылая живет. Серафимой кличут. По ночам в хаты пробирается и молоко пьет. Ведрами. Кто откажет в молочке, тому грешный язык клещами рвет. А в Кривошлатском бору деда Искру Замерзая видели: одноногий, о трех руках. В деснице топор, в шуйце – свистулька детская, а в третьей – заяц. По деревьям скачет.

– Кто – заяц?!

– Дед!

– Да ну тебя! – притворно надулась Минка. Щеки ее зарделись уже не смущением, а здоровым румянцем. Сейчас она была диво как хороша. – Я тебе серьезно, а ты… Не веришь, и не надо. А я верю. Счастливые люди в Яблонце живут. И мы теперь счастливые станем!

– Да разве я против? Кому счастья не хочется? Из Закрючинцев в Яблонец: ай, хорошо звучит! На новом месте, приснись жених невесте…

– Вацек!

– Это я про тебя, Минка. Женой звать не привык, а невестой – оно ничего. Приятно…

Вацек внезапно осекся и уставился куда-то вбок. Минка проследила за взглядом мужа и тоже притихла. Из леса наперез телеге выходил мужик. Надо сказать, вид у мужика был самый что ни на есть подозрительный, можно сказать – разбойный. Волосы колтуном, взгляд бычий, исподлобья. Лицо сплошь заросло редкой льняной бородой, откуда торчали сухие иглы сосны. Рубаха от века не стирана, на плече вырван целый клок, грубые портки на коленях вымазаны бурым: грязью или чем похуже… Вацек придержал лошадь, встал ближе к телеге, как бы невзначай нащупал взятый в дорогу чекан. Минка съежилась, глядя на незнакомца во все глаза, которые у нее разом стали «по семь грошей каждый».

При ближайшем рассмотрении разбойник оказался едва ли старше Вацека. Грозный вид вблизи вызывал сожаление: колтун, небось, чешется, борода не борода, а чистая скорбь души, рубаху зашить некому… Гость был безоружен, простой палки, и той не имел.

Вздохнув с облегчением, Вацек убрал ладонь с чекана.

– В Яблонец, – утвердительно, сам себе сообщил незнакомец, остановясь в двух шагах от лошади. Ковырнул грязным пальцем в правом ухе, сморкнулся в кусты и неожиданно осведомился:

– За удачей? Ну-ну… Юстовы наследнички, значит…

Здороваться он и не подумал. Обиженный, Вацек счел нужным ответить тем же. То есть, вообще не ответить. Лесовик по-хозяйски обошел телегу, осматривая скарб: словно приценивался.

– Бедно живете, – сплюнул сквозь зубы; хорошо хоть не на телегу. – Ничего, в Яблонце разговеетесь, зажируете. О, хлебушек! Свежий. Давай!

Тон лесовика был ничуть не просительным, а внаглую требовательным. Вацек хотел было послать нахала на Смерть-Тещину гору к шестикрылой змеюке-Серафиме, но в последний миг раздумал. Парень, видать, голоден. Неужто он, Вацлав Хорт, такой скареда, что голодному куска хлеба пожалеет?! Стыдно. Что яблончане скажут, если узнают?

– На, держи.

Щедро отломил треть буханки, протянул незнакомцу.

Даже не поблагодарив, тот впился в хлеб крепкими зубами. Сглотнул, дернув кадыком.

– Добрый хлебушек. Давай остаточек.

На миг Вацек потерял дар речи. Но быстро пришел в себя:

– Хрен тебе!

– Хрен?! – изумился лесовик, выпучив зенки.

– Хрен!

– Мне?!

– Тебе!

– Выходит, земляк, мне не хлеб от тебя, а хрен?! – все никак не могло понять лесное чудо.

– Ага. Угостили – скажи спасибо и иди своей дорогой. А на весь каравай рта не разевай!

Предложение сказать «спасибо» лесовик пропустил мимо ушей. Подобные глупости, видимо, просто не укладывались у него в голове. А может, и слова-то такого отродясь не слышал: «спасибо».

– А ежели я сам возьму?

Последствия сего деяния очень интересовали грязнулю. Он весь подался вперед, навострив уши.

– А ежели я тебя чеканом по рукам перетяну? Или по хребту?! – в тон ему поинтересовался Вацек, предъявив нахалу соответствующее орудие для укорачивания загребущих рук и выпрямления хребтов.

– Меня? Чеканом?! – лесовик развеселился, заулыбался, и сразу стал выглядеть совсем мальчишкой. – Врешь!

– Ей-богу! Попробуй, хапни – узнаешь!

– Здорово! Меня – чеканом!

– Здорово?! Тебя что, никогда не били?!

– Меня?! – снова взялся за свое лесовик.

«Безумец. Или юродивый,» – сообразила Минка. Она незаметно толкнула мужа в спину, а когда Вацек обернулся, скорчила такую гримасу, что любимый супруг сразу все понял. Это у Минки от матери: без слов объяснять. Хотя предпочитала все же словами. И это от матери…

– Прям-таки огреешь? – юродивый прицепился хуже репья. Рожа его при этом была ужасно счастливой. Если в Яблонце и впрямь много счастья, сейчас оно без остатка помещалось на грязной физиономии лесовика.

Раздумав беседовать дальше, Вацек для наглядности замахнулся чеканом: иди, мол, прочь!

– Ой, божечки! Ой, лихо! Да не бейте ж вы его!

От кустов лещины к телеге со всех ног спешила пышная баба лет сорока. На ярмарках торгуют такой сдобой – мягкая, румяная, округлая. Даже сарафан «булочного» цвета: желтый с подпалинами. Два лукошка, полные грибов, весьма затрудняли бег. Тем не менее, баба торопилась, как на пожар, ухитряясь не рассыпать свои трофеи.

– Дайте! Дайте, чего просит! На удаченьку…

Улыбка в муках умирала на лице юродивого.

– …будет… вам!..

– Будет, будет! Держи удаченьку, Катаржина!

Юродивый с веселой злобой дождался, пока баба добежит, и пнул лукошко ногой. Боровики, маслята и красноголовики полетели градом.

– А вот и счастьишко!

Второе лукошко постигла участь первого.

Глядя, как толстая Катаржина на карачках ползает в траве, собирая грибы, лесовик хохотал, дергая себя за жидкую бороденку. Баба подняла голову, встретилась взглядом с охальником, и вдруг тоже заулыбалась, прыснула от смеха.

– Ох, наподдал! Грибной дождик! Хошь, Ченек, я соберу, а ты еще разок пнешь? Ножкой?! Если тебе в радость, мне не в тягость…

Скривившись, будто лесного клопа разжевал, юрод потерял к грибам и хихикающей бабе всякий интерес.

Махнул приезжим:

– Ладно, езжайте. Ищите свое счастье. Бог в помощь. Жаль

только, не станешь ты мне больше чеканом грозить. Жаль…

Не оглядываясь, пошел обратно в лес, набивая рот хлебом.

Едва он скрылся из виду, баба перестала смеяться. Вацек присел рядом, помогая собрать грибы.

– Повезло вам, – ласково сказала запыхавшаяся Катаржина. – Развеселили Ченека Стореца. Значит, теперь добром аукнется. Сторицей. Ну, если не сторицей, так вдесятеро – непременно…

– …А огрей я его чеканом?

Катаржина оказалась женой бондаря из Яблонца, и, как сразу выяснилось, куда больше сбора грибов любила почесать языком. Люди новые, ничего не знают, не ведают…

– Забудь! Навеки! Ишь, чего удумал: Стореца чеканом… Лучше самому себе топором ногу отсечь, не приведи Господь! Им, Сторцам и Сторицам, добро надо делать, подарки дарить, радовать. Тогда и вам – счастье да удача, радость да веселье!

Загадочная семья «Сторцев и Сториц» оставалась для молодоженов загадкой. «Счастливые люди?!» – наполовину шутейно спросил Вацек, припомнив их с Минкой разговор. Катаржина ответила с неожиданной строгостью:

– Это у вас так говорят.

– А у вас?

– А у нас помалкивают. Удача болтунов не любит.

– Много их, ваших Сторцев-Сториц? Род большой?

– Три человека. Ченека вы уже видели. Есть еще Иржек и Ганалка. Не бойтесь, вы их сразу узнаете! Они Ченеку не потатчики, «ладошку» справно носят…

Далее беседа перешла на дела более понятные и насущные. Местные промыслы, хорошо ли родит земля, вдоволь ли грибов-орехов, наследство покойного дяди Юста, цены на бочки, мед и льняное полотно… Так, за разговором, выбрались на спину к Мишульцу; впереди замаячили крытые соломой крыши села. Катаржина указывала рукой, где чья хата, попутно излагая ворох сплетен про земляков. Хозяйства яблончан выглядели справными: солома на крышах новая, ни один плетень не просел, не рассохся от старости, огороды зеленеют свежей ботвой, во дворах кудахчут куры, хрюкают свиньи…

Над селом плыл вкусный запах гуляша из баранины, щедро сдобренного перцем.

Во дворе дядиного дома их ждали. Опрятный улыбчивый старичок с хлебом-солью на блюде, стайка мелюзги и дюжина баб: мужики трудились на нивах и выпасах. Вацлав – не прошлый Вацек-юнец, заброда-прийма, а честный хозяин Вацлав Хорт! – с поклоном принял угощение. Макнул кусок горбушки в соль,

откусил и передал, согласно обычаю, жене. Старичок представился Ладиславом Громадкой, сообщив, что ему был поручен надзор за хозяйством Юста-покойника. Добро пожаловать, новые соседи, теперь ваш здесь глаз и рука! Вацлав снова поблагодарил, распряг лошадь, и вместе с женой отправился за дедом Ладиславом смотреть наследство. Минка шла позади, тихо радуясь, еще не до конца веря: наше? взаправду наше?!

Вот ведь счастье!

Гости повалили ближе к вечеру, когда уставшее за день солнце тонуло за дальним Градеком. Все с подарками: туесок меда, отрез ткани, подойник, квашня, бутыль душистого самогона-бимбера, настоянного на чабреце. Вацлав с Минкой не знали, куда себя деть от смущенья: в Закрючинцах радушие было редкостью. Минка наскоро собрала угощение, не пожалев для пришедших их же собственных даров. Гости довольно переглядывались: новоселы не оплошали, молодцы! Расходились заполночь. Осоловевший от хмельного Вацек, проводив последнего, вернулся в дом. Усталый, но радостный, сел на скамью, налил себе чарку «на порожек».

– Ну, за наше счастье!

Поздним утром, когда Вацлав успел всласть проспаться и взялся подновить плетень, объявилась Катаржина-бондариха.

– Здрав будь! – окликнула она парня, как старого знакомого. – Голова-то как, после вчерашнего?

– И тебе здравствовать, соседка. Голова ясная, Бог миловал. Вот, обживаться надо.

– Ну и славно. Наша с Ешеком хата напротив, где две липы. Ты силы береги, сосед: у нас новоселье три дня справляют. К закату жди, придут опять.

– Спасибо, что упредила. Стол загодя накроем. Да что ж ты за плетнем кукуешь? Заходи во двор, Минка сейчас выйдет…

Дважды просить себя разговорчивая Катаржина не заставила. Вскоре обе женщины уже сидели на крыльце, тараторя без умолку, пока Вацлав ладил рукоять к серпу. Потом он сунулся было в сарай, но тут во дворе объявился малец лет двенадцати. Вихрастый, конопатый, откуда и взялся-то? Одет мальчишка богато, как на праздник: рубаха жар-птицами расшита, штаны кумачовые, а на ногах – подумать только! – башмаки! Не керпцы, не лапти! Башмаками малец очень гордился, всячески выставляя их на показ. Небось, сын местного войта. По правде сказать, в Закрючинцах даже сын войта в будний день по селу босиком носился. Ну, кучеряво жить не запретишь…

На рукаве мальчишки красовался знак: желтая ладошка.

Заметив, что Вацлав глядит на нее, недоросль приосанился, выпятил грудь и заодно вывернул руку так, чтоб хозяину с хозяйкой знак был хорошо виден. Точь-в-точь солдат-новобранец, кичащийся оловянными пуговицами мундира. Минка не удержалась: прыснула в ладошку. Малец с недоумением моргнул, будто юная женщина прыснула не в свою ладонь, а прямо в его драгоценный знак. И сразу Катаржина, наклонясь к Минке, что-то горячо зашептала ей в ухо.

Затем метнулась к Вацеку:

– Это Иржек! Сторец. Я ж вам сказывала… Дайте ему что-нибудь! Слово доброе тоже сойдет, но подарок – лучше!

Заметив здравое сомнение во взгляде Вацлава Хорта, бондариха замахала руками пуще ветряка:

– Минке рожать скоро! Хочешь легких родов? Радуй Стореца! Сам вдесятеро рад будешь…

Верно почуяла ушлая баба, чем зацепить. Глупости, говорите? Суеверие? Пускай будет по-вашему. Но в чужой монастырь с воинским уставом не суйся… Яблонцы новоселов приняли, словно родных! Как люди к тебе – так и ты к людям. А главное… Если есть в словах Катаржины хоть на грошик правды – век себе Вацек не простит, что ради любимой жены пальцем не шевельнул!

– Здорово, кум Иржек.

– Здорово не корова, в ладонь не доится…

Малец по-хозяйски обошел двор. Приценивался, что ли? Завершив осмотр, встал напротив хозяев:

– Дядька Юст славные манки делал. Есть?

С утра Вацлав приметил в малой клети, на полке, искусно вырезанный манок. Даже не удержался: дунул. Манок отозвался диким селезнем, да так похоже, что и не отличишь. Еще тогда подумалось: дядина работа. Самому Вацлаву манок был без надобности: охотничать он не любил и не умел. Но вдруг стало жалко красивой вещицы. Память о Юсте-покойнике, опять же. Своими руками делал…

– Сейчас погляжу.

Пока шел в клеть, все думал: отдать? не отдать? В конце концов, с какой стати…

– На, держи. Хороший манок. Селезнем крякает.

Глаза мальчишки загорелись. Схватив подарок, он мигом принялся дуть в манок, оглашая двор истошным кряканьем. Затем восторженно показал Вацлаву язык, без спросу ухватил горсть семечек из торбы, стоявшей у ног Минки, и вприпрыжку, весьма довольный, припустил со двора. Сказать «спасибо» или попрощаться Иржек не удосужился. Интересно, Сторцы здешние все такие? Семейная черта?

– Много ли дитю надо? – задумчиво сказала Катаржина. – Свистульке рад. Взрослому-то Сторецу не вдруг угодишь… Особливо такому, как Ченек. Свезло вам, соседи. Пустяковиной удачу приманили. Ладно, вижу, обсказать дело надо. Иначе учудите беду…

– …С каких пор? Да с незапамятных! Их обычно троица бывает. Редко когда двое или четверо. Четвертый помирает быстро; а ежели двое осталось, значит, скоро третий на свет явится. Только в Яблонце они рождаются, Сторцы-Сторицы. В чьей семье – неведомо. На кого, значит, Бог пошлет…

– А как понять, кто родился? Колдуна звать?

– Уж поймем, не бойся… Без колдуна. Главное, чтобы Сторцы сыром в масле катались. Тогда хозяйства наши ладные, люди веселые да приветливые…

Вацеку припомнился «веселый да приветливый» лесовик, катавшийся «сыром в масле»: рвань, грязь, волосы колтуном. И как жадно он на хлеб набросился. Сразу видно: счастливый человек!

– Ченека вспомнил? – угадала Катаржина, мрачнея. – Сторцы тоже всякие бывают…

Было видно, что разговор о Ченеке ей неприятен. Тем не менее, бондариха продолжила:

– Нелюдим он. Огрызок. Не желает в Яблонце жить. В позапрошлом годе на девку одну запал, Боженку Пршибечкову. Вроде жениться думал, хотя… Кто его душу знает? Другие девки к Ченеку бегом бежали: ночь на сеновале, зато удача потом год валом валит, подставляй мешок! А Боженка, дурища… Короче, Ченек распалился, взял упрямицу силой. Хоть здесь ума девке хватило: отбиваться не стала. Поди-ударь Стореца! Рыдала после от глупости. Ничего, оправилась…

– И люди стерпели?! Родные?! Отец, братья?..

– Сердце у тебя дурное, Вацек. Чужой ты еще, не наш. Отец Боженкин хворал сильно, думали, не жилец. А едва Ченек дочку приласкал, сразу на поправку пошел. По сей день живехонек, дай ему Бог здоровья! Боженка как увидала, что отцу полегчало, тут же убиваться бросила. Снова к Ченеку прискакала: бери, мол!

– Ну?

– Вот тебе и ну! Изругал ее Ченек по-черному, хорошо хоть не прибил. С того часа в лесу живет, людьми брезгует. Землянку выкопал… Изредка в Яблонец наведывается. Дом его в порядке содержат, так он поживет неделю-другую, отъестся, покуражится – и обратно в лес. Боженка ему туда харчи таскает. Только Ченек ейный харч не берет. Ото всех берет, лишь бы не от Боженки… Но

и зла, видать, не держит: девка здоровая, красивая, жаль, перестарок. Сваты Пршибечкову хату обходят. Взял бы Ченек от нее хоть горшок сметаны, небось, мигом замуж выскочила бы…

– Что ж это получается? Пожелает, к примеру, Сторец кому кошель с деньгами найти – найдет человек кошель? А озлится, пожелает, чтоб враг в речке утонул – утонет? Колдуны они, да?!

– Никакие они не колдуны. Дар у них, Божий. Ну а чей же иначе? Крещеные, как-никак… Счастье народу дарят, если с умом подходить. Око за око, зуб за зуб, счастье за радость. А чего сам Сторец при этом желает – без разницы. Люби он тебя, как мать родную, а ушибешь его, к примеру, даже нечаянно…

Молодые супруги долго молчали, переваривая услышанное. Катаржина им не мешала: видать, утомилась. В свинарнике недовольно хрюкал боров, требуя корыта с ботвиньей; в птичнике крякали утки. Живности было не до пустых рассуждений о природе счастья, им жратву вынь да положь. Увы, Вацек размышлял о другом.

– Врешь! Ей-богу, врешь! Познали бы в округе про яблонецких Сторцов-Сториц, докатилась бы весть до какого-нибудь князя! До короля! Прислал бы людей, осыпал Сторцев золотом да и увез бы к себе. Роскошь, еда на златых тарелях, ни в чем отказа нету… А тот король разом богаче всех сделался бы! Соседей войной завоевал…

В ответ женщина лукаво подмигнула новому соседу:

– Ты о нашем Яблонце слыхал раньше?

– Слыхал…

– И про Сторцев, небось, слыхал? У вас их «счастливыми людьми» величают.

– Ну…

– И что? Сразу поверил? Побежал за счастьем?! Вот так и князья-короли к нам бегут, торопятся…

– А вдруг? Явятся гонцы, увезут силком?! Король – он кого хошь заставит!

– Сторцев заставлять – себе дороже. Понял? Силой ударишь, силищей огребешь!

– Ну, посулили бы чего… подарков, титулов… Думаешь, ни один не польстится?

– Польстился бы, кабы не Межа. За Межу нет нашим Сторцам хода.

– Да ладно тебе! Мы сюда ехали, никакой Межи не видели…

– Простым людям Межи не увидеть. А Сторцы-Сторицы ее душой чуют. Для них за Межой – смерть. Быстрая, страшная. Не бывало, чтоб *счастьедары* Межу перешли и живы остались. У любого в селе спросите, хоть у войта. Говорят: заклятие

стародавнее, колдун сильный наложил…

Минка родила в середине лета. Дочку окрестили Мирчей. Роды прошли, словно песня: на следующий день роженица встала с постели, а через три дня уже вовсю хлопотала по хозяйству. Девочка родилась здоровой, спокойной: плакала редко, спала крепко, грудь сосала исправно. Агукала, тянула к матери пухлые ручонки. Вацек сиял, выпятив грудь: а? каков я хват? Человека соорудил, молодчина!

Лишь изредка, бывало, застынет Вацлав Хорт посреди двора, уставится вдаль пустыми глазами – и стоит. Думает. Потом тряхнет головой, словно гоня прочь незваные мысли, и делом займется. Зато вечерами частенько вел со счастливой супругой долгие беседы о жизни теперешней, удачной. Откуда ж неудаче взяться? Не раз, не два постреленку Иржеку дары дарили. Тихой молчунье-Ганалке Вацек с бондарем Ешеком и Пепиком Голубом, чья хата на другом конце села, крышу подновили. А назавтра, копаясь в огороде, Минка случайно вывернула из земли шкатулочку из мореного дуба с полудюжиной серебряных монет. Не ахти какой клад, но у для семейства Хортов – сокровище! Небось, дядя Юст на черный день припрятал, а наследники отыскали.

Удача.

Счастье.

Жизнь – праздник.

Одно покоя не дает. У самих-то Сторцев со Сторицей счастья вдвое, радости вдесятеро… Есть о чем поразмыслить, стоя посреди двора.

– …Что с рукой, Минка?

Судачить у колодца – это для женщин дело святое. Мужья давно знают: пошла супружница по воду, готовься от жажды высохнуть. Пока с кумушками лясы-балясы до лучин не обточит, не вернется. Уж и сердиться мужики разучились: привыкли.

– Кипятком обварила. Пустяки, заживет. Я барсучьим жиром помазала, тряпицей замотала…

– Оно по молодости бывает…

– Как же не убереглась?

– Ох, бабоньки!.. Мирченку кормила, рука занемела; едва дитя не выронила. Мирченка от испуга в крик, а я гляжу: суп вот-вот сбежит. Дочку на лавку, сама за ухват, тут горшок, подлец, возьми-вывернись! И сама обварилась, и горшок разбила, и Вацека без обеда оставила…

У соседок рты каменные. У соседок глаза медные.

Лица у соседок – незнакомые.

– А больше ничего такого не случалось? – осторожно интересуется Катаржина.

– Какого – «такого»?

– К примеру сказать, чтоб дочка твоя расплакалась, а после с тобой или с Вацлавом беда стряслась?

– Зачем каркаешь, Катаржина?! Побойся Бога! Ну разве что в прошлый четверг… Мирча кричит-надрывается, я гляжу: вроде, и сухая, и сытая – с чего бы? Оказалось, Вацек пеленку утром туго замотал. Ножку придавил… Вечером полез крышу сарая чинить, и как грохнется! Ногу зашиб, хорошо хоть не сломал. До конца недели хромал…

Молчат бабы. Господи, небывалое творится: стоят бабы у колодца и молчат!

– Вы чего, соседушки?

– Ой, дура ты, Минка! Ой, дурища!

– Полно браниться, Лойза! Они ж приезжие… полгода не минуло…

– Гляди, Минка! Гляди за дочкой! Чтоб сыта была, здорова, в сухости, в тепле…

– А мы пособим глядеть, не сомневайся!

– Да мать я ей, или кто, Ружена?! За своим ребенком не угляжу?!

– Верно, только ты все-таки гляди…

– Давай, Минка, я тебе пособлю. У тебя рука больная. Пойдем, пойдем отсель… негоже дитятку одному дома куковать…

– Так она с Вацеком…

– Хоть бы и с Вацеком! Мужики – народ пустой… Давай ведро, отнесу!

Минка засмущалась, но отказываться не стала. Вдвоем с Катаржиной они двинулись от колодца.

– Ушлая баба бондариха! Нос по ветру…

– Учитесь, девоньки!

– Ну, два раза – это еще бабка надвое сказала. Обождем троицы…

Дома Катаржина кинулась с масляной улыбкой агукать над колыбелькой. Раздобыла сухую тыковку, набросала орешков-камешков и подвесила погремушку у изголовья. Ребенок остался доволен. Пуская пузыри, девочка тянулась к новой игрушке.

На следующее утро бондариха обнаружила, что в ее огороде сгинули сорняки. Как не бывало.

В пятницу сдохла собака Голубов, облаяв Минку с дитем на руках.

А в святое воскресенье, под вечер, заявились к Хортам уважаемые старцы: знакомый дед Ладислав, Андрлик Витасек, войтов кум, и сам войт, Гуго Стойчес. Растерявшийся Вацлав звал дорогих гостей за стол, только войт головой качнул: сперва – дело.

И вручил оробевшим родителям знак: желтую ладошку из кожи.

Хотите банальность? Жизнь человеческая – музыка. И вовсе не оттого, что некий Петер Сьлядек буйнопомешан на этом бесполезном и неприбыльном деле. Что нам Петер, что мы Петеру, как по сходному случаю восклицал один датчанин королевских кровей? Истинно говорим вам: вслушайтесь и уверуйте. Любое, самок краткое существование – грандиозные «Страсти по нам». От первого вздоха флейты в начале увертюры до последнего вздоха скрипки в финале, когда оркестранты уходят, а в опустелую яму сыплются нотные листы, шурша грехами и добродетелями в виде бемолей-диезов при наших поступках. Целые, четверти, осьмушки, пассажи и триоли… Растет, высится холм, под которым – ничего. Обманка, пища для червей-меломанов. Куда уходит музыка, отзвучав? Что ни ответите, будет еще одна банальность. И не надо, знаете ли, бросать через плечо с видом ученого референдария: у епископа Домажлицкого, дескать, возвышенный «Magnificat», у барона фон Альбенрейта – могучий «Concert Branderburgic», а у пьяницы Матея Хромуши – похабная запевка, и та без конца. Потому как при дамах неприлично, а Смерть, она тоже дама, вот и не дослушала. Не умеете внимать, конь ухо оттоптал, значит, молчите. У пьяницы Матея – величественная, скорбная месса по несостоявшейся жизни, истраченной в кутежах от безысходности. У блудни Евки из Лобковиц – нежная, девственная свирель в объятьях принца-клавесина. Старость на пороге, мужики нос воротят, а свирель все в девушках ходит… Зато у вашего фон Альбенрейта трубач изо дня в день побудку трубит, тщетно надрывается: «Вставай!..», пока однажды не сыграет вечернюю зорю навеки, улыбнувшись сожженным ртом.

Все, хватит банальностей.

Утомили.

К чему это, спрашиваете? К пустякам. Если вслушаться в шестнадцать лет Мирчи Сторицы, от дня легкого рождения до тяжкой ночи прозрения, о которой речь позже, если навострить ушки мимоходом, то можно услышать немногое. Обрывки, отголоски.

– Дай!

– На, маленькая! На, славненькая!

– Дай!

– А кому яблочко? Мирче яблочко…

– Мама, у меня ножки болят…

– Вацек, возьми ребенка!

– Беру, беру! Папа Мирчу на закорки, папа с Мирчей скачет с горки…

– А кому ленточка? Мирче ленточка…

– Устала, красавица? Иди поиграй, мама сама достирает…

– Я не хочу молочка, бабушка Ясица!

– Ой, солнышко! За что мне такое наказание, за какие грехи?

– Почему ты плачешь, бабушка?

– Старая я, ноги не ходят… помру скоро… Вот и ты молочко мое брать не хочешь, смерти моей желаешь!

– Давай молочко, бабушка Ясица. Смотри: я пью. Не плачь…

– Ой, шли парни с буцыгарни: Мирчу баловать, Мирчу целовать!

– Я красивая?

– Краше всех на свете! Держи поясок, он с бисером…

– Кому гребень? Мирче гребень!

– Идем плясать? У меня батька хворает… Хотел я тебе монисто дать, так нет мониста! Идем плясать, Мирча, ты ведь любишь плясать!

– Ладно, Зденек. Спляшем.

– Храни Бог добрую Мирчу! Я тебя насмерть запляшу!.. батька совсем хворый…

– Отдыхай, милочка! За козами я сама присмотрю…

– Кто королева вечерницы? Мирча королева…

– А кому полушубок?.. нет, Кшиська-дура, не тебе полушубок…

Хорошо живет Яблонец. Сытно, тепло. Знают люди, что делать, кого благодарить. Иржек Сторец – тот со своим мешком счастья в обнимку пляшет, народу горстями раздаривает, а в глазах-льдинках: «Помните? Кому обязаны, помните?! Ну и хорошо, что не забываете!..» Веселый Иржек, шутник Иржек. Ганалка Сторица – другая. Баба тихая, нелюдимая. Молча берет, молча распределяет: в сундук или в дело. Мужу детишек каждый год рожает. Чего не рожать при такой судьбе? Муженек, видать, часто жене хорошо делает. Рожу отъел, за неделю углем не обмажешь. При Сторице жизнь – малина. Ну, еще Ченек Сторец в лесу сиднем сидит, разбойник. Домой носу не кажет. Думаете, легко ему, упрямцу, в лес подарки таскать? А он еще и от землянки пинками гонит: явились, уроды? За удачей?! Держи удачу пяткой в зад! Одна радость: еду берет, хлеб, сыр… Еще

новую одежу принимает. Значит, быть яблончанам с добрым почином. Четыре Сторца-Сторицы – это вам не три добродия, кварта трешницы много забористей!

Счастливая жизнь.

Как Мирча Сторица с такой жизнью славной девчонкой выросла, не знаем.

Судьба, она с хитринкой.

Девушка шла в ночи, беззвучно мурлыча «Косарей-косариков». Любимая песенка: как на лугу ангелы небесные ободрень-траву косили. Отчаявшихся с земли поднимать, павших духом возвышать. Неправильно, стыдно так думать, но она изредка считала себя чем-то вроде ангельской ободрень-травы. Хорошо, когда можешь с легкостью раздавать утешение, а тебя все любят. Все-все. Вот, например, девицам опасно ночами гулять, а она, Мирча, гуляет. Вечерница закончилась, только домой идти неохота. Кто Сторицу тронет-обидит? – ее даже дикий зверь стороной обойдет. Зверь, он себе не враг, зверь сердцем чует. Разок видала: Ченек-лесовик с гадюками играет. Чуть не лобызается с ядовитой змеюкой, на грудь кладет, греет. Не кусают Стореца гадюки, терпят. Шипят с ласкою. И ей, Мирче, ничего в ночи не сделается. К отцу-матери хоть утром вернись, слова худого не скажут. Спать, правда, не лягут, станут ждать. Придет любимая дочь, спросят с улыбкой: «Подобру ли гулялось?» Мама усмехнется, отец подмигнет. Двое меньших братьев на рассвете с печи спрыгнут, первым делом сестру поцелуями измусолят. Так это братья…

А еще она сегодня опять целовалась с Матяшем Фенчиком.

Лучше Матяша нет парня на белом свете. Матяш самый сильный. Самый добрый. Самый красивый. Завтра пастухи уходят в горы, на летние выпасы. Осенью вернется Матяш, должно быть, сватов зашлет. Или Мирча к нему в горы сбежит, прежде сватов. Чего ей бояться? – нечего. У нее от любви в сердце черный дрозд щебечет, заливается. Душа птахой в небе вьется. Сыграют свадьбу, будет красавец Матяш любить молодую жену, а молодая жена ему под ноги всю радость, какая ни есть, бросит. Молодая жена это умеет: радость направо-налево бросать.

Крепко люби Мирчу Сторицу, веселый парень!

– …глаза б ее, паскудницу, не видели! Репьем липнет…

Сперва девушка не поняла, откуда донесся знакомый голос. Сейчас она шла мимо Белого Озерца, рядом с которым били целебные ключи; кругом дремали скалы, обросшие травой и кустами. Неподалеку, ближе к глухим оврагам Бульчика, располагалась Северная Межа, за которую Сторцам ходу нет.

Впрочем, Мирча и не собиралась идти туда. Луна светила в лицо, девушка присела, загородившись ладонью, вслушалась. В искусственной темноте голос зазвучал с особой отчетливостью:

– …оторвешь – язву наживешь…

– Ты целовал ее, предатель!

– Ясное дело, целовал. Вторую неделю целуемся. Впрок, значит. Ей приятно, мне полезно. Ты вот, Терезя, на меня и глядеть не желала, а как я Сторицу первый раз чмокнул, так ты мне сердце и отдала. Вишь, аукнулось сторицей. И дело у нас быстро сладилось…

– Охальник! Не стыдно?!

Низкий, грудной смех. Сладкий, будто мед. Так смеялась бы сама Мирча, доведись ей лежать в объятьях любимого Матяша. Увы, ныне, полускрытая кустами дикой розы, в этих объятьях лежала Терезя, грудастая Терезя-лентяйка, гадина-разлучница. С трудом сдерживая страстный порыв кинуться, вцепиться врагине в пышные кудри, Мирча затаила дыхание, стараясь не пропустить ни словечка. Черный дрозд, сладко певший в сердце, обернулся коршуном, закогтил сердечко; обернулся змеем, вливая яд. Уйти? Сохранить гордость? Ноги приросли к месту: хотелось слушать страшные слова вечно, чтобы потом пасть грозовой тучей, ударить молнией…

– Она, небось, сватов от тебя ждет! Да, Матяш?

– Не знаю. Должно быть, ждет. Как представлю: с ней, ненавистной, жизнь коротать… Убил бы суку. Да нельзя. Шарахнет эхом: земляки в клочья порвут. Сами ее ненавидят хуже моего, а пальцем тронуть не моги! – четверть удачи у Яблонца забрать, это не шутка… За такое долго убивать станут. Чтоб другим неповадно было.

– Уж лучше так, как Иржек… Без слюны в лицо плюет, тварь веселая…

– Твоя правда, Терезя. Иржека ненавидеть проще. Или вражину Ченека. А эта… Я вот иногда думаю: оглянись Господь, лиши какую Сторицу ее дара, – мы бы ей новую смерть придумали, небывалую. Земля бы содрогнулась! Сам дьяволом стал бы, сковороду накалил… и на этой сковородке, задрав подол, вилами…

– Ага, вилами! А сватов-то зашлешь…

– К тебе зашлю. Успею раньше. Если она на выпасы не прибежит, конечно. Захочет под кустик, как откажешь? Медведь после заломает или волки отару порежут… Ох, Терезя, тяжко целовать, когда укусить хочется!

– А меня, Матяш?

– А тебя сладко…

Дальше Мирча не слушала. Вместо того, чтоб кинуться на изменника с его потаскушкой, она ринулась прочь, в обход Озерца, куда ноги несут. За спиной охали встревоженные любовники, камни и корни деревьев в испуге старались не подвернуться под ноги рыдающей Сторице – засохнешь! зачахнешь! сгниешь! – склоны незримо поддерживали девушку, не позволяя упасть, ободрать белое тело, терновник расступался, пряча шипы… Опасно близилась Северная Межа. Пусть! Пусть земля поглотит несчастную Мирчу, пусть волки съедят или овраг примет бездыханное тело! Новые, незнакомые прежде хищники гнали добычу: клыкастая Ненависть, грузный, косматый Обман, ползучая Злоба. Матяш врал! Он врал для Терези: не может быть, чтобы все, даже отец с матерью… Мирча отомстит: она больше никогда не возьмет подарки мерзкого вруна, никогда не обрадуется его появлению, и радость не войдет в дом Матяша Фенчика, Терезя разлюбит его, девки в рожу плюнут, парша и короста опоганят голову!..

Землю тряхнуло. Девушка не удержалась на ногах, упав на мягкое, пахнущее зверем.

– Тихо! Тихо, дурочка…

Совсем недалеко от Северной Межи, под старым дубом сидел Ченек Сторец. Вредная язва, бобыль и насильник, сейчас он гладил волосы рыдающей Мирче, и глаза лесовика странно блестели.

– Что, поняла? Узнала?

– Он… она!..

– Тихо, тихо… Поплачь, станет легче. Ничего, привыкнешь. Вот, Иржек привык, ему даже нравится… и Ганалка…

– Ченек! Я жить не хочу!

– Я, что ли, хочу… Ты живи, Мирча. Чего тебе не жить? Ну, не любят нас. Себя любят, а нас – нет. Бывает. Когда по первому разу эту мудрость узнаешь, оно дико. А дальше – ничего. Это я, злодей, не смог, а у тебя получится. Смотри, чего покажу. Внимательно смотри. Позже, когда захочется к Меже бегом бежать, вспомни и остановись.

Ченек напоследок еще раз погладил растрепанные волосы девушки, словно прощаясь. Затем встал и, не оборачиваясь, пошел к Меже. Невесть откуда взявшийся ветер бил лесовика в грудь, но остановить не сумел. Чудной звездопад обрызгал небеса, огненная корона пала на кудлатую голову, терновый венец, неопалимая купина, и лишь тогда Ченек на миг обернулся.

– Я ее силой взял, – он говорил о чем-то своем, давнем, и Мирча задыхалась, слушая. – Боженку, значит. Многих на сеновале валял, а сам глаза зажмурю и ее вижу. Вот и взял

однажды. Мечтал: ударит! воспротивится! Нет, отдалась без ропота. Бревном лежала. Ни слова, ни словечка! ни вздоха… Хорошо мне, скоту, делала. Ради своего счастья. Люди ради своего счастья что хочешь сделают… не люблю я людей. И они меня не любят. Ну и правильно делают.

А потом с ночного неба упала звезда.

И сожгла дотла непутевого Ченека Стореца.

Июнь расцветил утреннее небо искрами.

Сбор был назначен на окраине Яблонца, возле дома Гевонта Витасека, вот уже пятый год избираемого пастушьим бацей. С рассвета тянулись сюда овечьи стада: хозяева заводили овец в общий загон, а пастух-счетовод бусинами четок отмечал каждый десяток. Лошади стояли под вьюками: котелки, подойники, мешки с припасом, топоры, квашни, теплая одежда… Отдельно ждали волы-двухлетки с погонщиками и коровы. Людей собралось великое множество. Старики учили молодых, совали зелья от сглаза и порчи, напоминая: эти – для человека, эти – для скотины. И не перепутайте, сопливцы! Отдельно учили привечать разбойников, если те вдруг заглянут в гости к шалашам. Часть старцев и сама в молодости пошаливала разбоем, оттого настаивала на добром отношении к грабителям: кто знает, не придется ли сыну-внуку однажды гулять в веселой шайке? Матерые, кудлатые волкодавы стерегли загон, ожидая, когда сельскую баранту выгонят наружу и собьют в одну кучу; безухие, бесхвостые, страшные для зверя и лихого человечка, псы щеголяли колючими ошейниками. Бабы целовались с телятами, украдкой крестя любимцев едва ли не чаще, чем собственных детей. Дети же искренне радовались будущей воле, песням и любви, без которой никогда не случалось летних выпасов. Здоровое чрево здесь всегда ценилось больше скромного, но бесполезного девичества, а взять замуж красотку, что нравилась многим парням, и вовсе почиталось честью.

Значит, стоит любви!

Чудесной музыкой звучали сотни медных колокольчиков. Из серого, поднявшегося вверх сумрака, гонимого рассветом, выступали могучие вершины Градека, братьев-Лелюшей и угрюмой Козины, позлащенные солнцем. Ветер гнал облака, словно тоже записался в пастухи; синие, лиловые и сиреневые, облака в испуге беззвучно блеяли, пропадая за горами. По их бегу предсказывали погоду: лето будет знойное, но с обильными дождями. Пастуший баца кропил овец и волов святой водой из котелка, потом перекрестил воздух над стадами своим чеканом и вышел вперед.

Но сказать: «С Богом! Оставайтесь здоровы!», дав сигнал к отправлению, ему не дали. Рядом с бацей объявился Вацлав Хорт, хмурый и сосредоточенный. К отцу жалась дочь, бледная до синевы; яблончане приветливо улыбались Мирче Хортице, понимая, как ей хочется уйти вместе с пастухами-пастушками в горы. Рано еще, девица, обожди годок… Удивленный баца взглядом спросил у Вацлава: «Чего тебе?», и Вацлав так же, без слов, попросил старшего пастуха: «Дай сказать! Не для себя, для дочки прошу…»

– Говори! – вслух разрешил баца Гевонт, подняв чекан.

Тишины добиться было трудно. Животные блеяли, мычали и звенели колокольцами, но хотя бы люди замолчали, интересуясь происходящим. Впервые поход на выпасы начинался таким странным образом. Вацлав Хорт смотрел на земляков. Ему было страшно, а пуще того – стыдно. После ночного разговора с дочерью он едва не тронулся умом, а про Минку и говорить не хотелось: жена слегла в горячке и сейчас металась на постели, под присмотром знахарки, бабушки Ясицы. Меж отцом и дочерью с этой ночи стояла тайна, разделенная на двоих; беспамятная мать – не в счет. Тайна давила на плечи, жгла язык; тайна говорила, что прежняя жизнь встала у обрыва. Значит, самое время набрать воздуха, зажмуриться и прыгнуть вперед, наудачу. На ту удачу, которая долго шла рядом, да вот отстала, проказница.

– Люди! – сказал Вацлав Хорт. – Земляки!

Дыхание его сорвалось. Подавившись словом, он закашлялся; яблончане не мешали ему, ожидая продолжения.

– Первый мой сказ такой: нынешней ночью Ченек Сторец преступил межу и погиб лютой смертью. Знаю доподлинно, потому и говорю вам. А второй сказ иной: дочь моя, известная вам Мирча Сторица, велела мне, родному отцу, спросить у вас…

Даже овцы притихли. Даже колокольцы прикусили медные язычки.

– Велела спросить: правда ли, что вы все ее ненавидите?!

И в совсем уж мертвой, гробовой тишине добавил страшное. Не мог не добавить, ибо клялся дочке сильной клятвой:

– Мирча велела предупредить: обманете, солжете – сильно ее обидите. Великая обида будет у яблонецкой Сторицы, если ложь услышит! Отвечайте, люди!

Гнал ветер облака над Градеком. Ворчали псы на глупых ягнят, тыкавшихся в щели загона. Небо, налившееся лазурью, удивлялось: почему люди в землю смотрят? Почему не вверх, в роскошь поднебесья?! Зря, что ль, прихорашивалось?! Мирча глядела на односельчан, потупивших взоры; ее взгляд шарил по

толпе, тщетно ища ответа. Требуя: «да» или «нет»? – хоть что-то определенное, потому что тишина была для девушки невыносимой. Тишина отвечала. Тишина утверждала. И страх произнести ложь, родной отец проклятой этой тишины, как Вацлав Хорт был родным отцом яблонецкой Сторицы, окутывал сердце ледяным саваном. Молчите, люди? Почему вы молчите?!

Скажите хоть словечко!

Ослепнув и видя лишь звезду, в пламени которой сгорел ночью непутевый Ченек-лесовик, девушка махнула отцу рукой: продолжай, мол! Как сговорились, так и продолжай!

Вацеку легче было бы вырвать себе язык. Или схватить дочь в охапку, запереть упрямицу дома, связать, кормить насильно, следить, не дозволяя наложить на себя руки, пока молодая дурь не вылетит из головы… Видит Бог, он мог это сделать. И не мог. При всем Яблонце творить насилие над Сторицей? Вацлав шагнул вперед, низко поклонился землякам. Снял шапку, открыв не по возрасту седые кудри:

– Хотите, убейте, хотите, гоните! Каюсь, люди! Каюсь в обмане!

Глаза земляков по-прежнему буравили землю. Будто взглянуть на отца с дочерью значило ослепнуть. Лишь двое смотрели без страха: Иржек Сторец, наглец-весельчак, – с лихой издевкой, и Ганалка Сторица, угрюмая молчунья, – со скорбным пониманием. Их глаза жгли душу Мирчи звездой-убийцей. Еще миг, и встанет Межа на окраине Яблонца: сделай шаг в смерть, в покой без любви и нелюбви…

– Каюсь! Никогда не была моя дочь Мирча вашей Сторицей! Трое их было: Ченек-покойник, Иржек и Ганалка. Это мы с женой придумали: выдать дочь за Сторицу. Вините нас, бейте, но поймите: добра ребенку желали! Врали с самого рожденья… У колодца обманула моя Минка баб хитрым рассказом. Катаржине после я огород прополол, ночью. И собаку Голубов тоже я отравил. А там, как знак получили, само дело сладилось: два настоящих Стореца в селе, один – в лесу… Всем дары несут, всем добро делают – как узнать, от кого добром аукнулось? Простите меня, люди. Хотите, возьмите мою душу? Вот он я, глупый Вацлав Хорт! Только дочь не трогайте: нет на ней вины, не знала она ничего…

Лопнула тишина.

– Ах ты сучка! Змея подколодная! Гадюка!

В Терезю словно бес вселился. Обман, все обман! А раз обман, значит – можно! Сквитаться с ненавистной: за подарки-улыбки, за удачу купленную-проданную, лживую погремушку, а пуще всего – за Матяша, за поцелуи его, которыми Матяш с этой

стервой делился, платил ей, тварюке…

Все! Кончилась Мирча-Сторица.

Аминь.

Вихрем Терезя из толпы выломилась. Налетела, повалила, в волосы вцепилась. И ну по земле возить! Сторица, говоришь?! Пальцем тебя не тронь, говоришь? Так я тебе, гадине, принесу удачи-счастья, век помнить будешь! Вот тебе удача, вот тебе счастье, а вот – за Матяша, за Матяша, за красавца Фенчика! Ничего, и до глаз твоих лживых, змеиных, доберусь!

Выцарапаю!

А люди стоят – молчат. Ни один не шевельнется. Дети камнями в землю вросли. Бабы онемели, обездвижели. Два младших брата Мирчи губы жуют, не шевелятся. Дернулся было Вацлав любимой дочери помочь, да Гевонт-баца, медведь, взял за плечи: обожди, земляк. Хотел кару принять? – принимай. Твоя кара по земле катается, да не только твоя – наша. Общая. Эх, земляк, ничего-то ты не понял!..

И еще – крик над толпой. Истошный, жуткий. Одинокий:

– Назад, Терезя! Назад! Не тронь ее, дура! Не на-а-а-а…

Это Настуся Магурка, мать Терезина. Опоздала. Мелькнула тень в вышине. Камнем, стрелой вниз пала. Карой небесной. Взвился новый крик над выгоном, страшнее прежнего. Это Терезя кричит, надрывается. Пал на девку ясный сокол, в лицо – когтями, клювом… Первым ударом щеку вырвал; вторым до глаза добрался. Рвет, когтит, треплет. Хищная птица, ярая. Не оторвать.

Да и не надо отрывать.

Сам взлетел.

Кружит под облаками, на землю черным оком косится. Лежит Терезя вся в крови, красота девичья – клочьями; не плачет, не кричит – скулит тоскливо, без надежды. Рядом Мирча сидит: волосы растрепаны, платье в грязи, щеки в ссадинах. Это ничего, девушка! Это пустяки! Волосы гребнем причешем, щечки родниковой водицей умоем, зельем смажем; платьишко – в стирку, любая баба с радостью, пока мамка твоя встанет… Будешь краше прежнего всем на радость!.. или на зависть, это уж как поглядеть. А Терезе никогда прежней не стать. Воздалось сторицей.

Уставилась Мирча в ужасе на врагиню свою. Набухли глаза слезами. Господи, зачем так скверно шутишь?! Опомнись, Господи! оглянись! Слышал же, небось, чего сказал Вацлав Хорт пред Яблонцем… Или мимо ушей пропустил, Всеблагий?!

Молчит небо, не отвечает. Разве что соколом отзывается: вон, кружит… ждет.

– Как же так, люди?.. как же так…

Обнял Вацлава могучий баца, пастуший царь: а вот так, земляк. Как есть.

С Градека ветер обрывок песни в зубах тащит:

– Ой, Сторица!
Живет, не старится, —
И путь ей торится,
И жизнь ей дарится!

А там, где ложь-вина,
Межа положена…

Заметался взгляд несчастного отца. Пытается бедняга Хорт яблончанам в лица заглянуть, а люди отворачиваются. Словно каленым железом в них тычут: жарко, больно. Один дед Ладислав выдержал, не отвел глаз. Даром, что дряхлый от сквозняков качается. Кремень-старик; вздохнул только. И бондариху пальцем поманил:

– Что, Катаржина?? Про *роженых* Сторцев рассказала, а про робленых – забыла?!

– Да кто ж помыслить мог?! Своей волей, родному дитяти, да такой судьбы пожелать?! Да если б я…

Бегом баба подбежала. Бухнулась Вацлаву в ноги:

– Прости ты меня, Вацек, дуру окаянную! Виновата я перед вами с Минкой! Прости, ради Бога…

А за спиной ее древний бук скрипит. Тихим словом деда Ладислава:

– Счастья дочке хотели? Вот оно, счастье. Хоть прочь теперь гони – не уйдет. Три раза пожелали, трижды судьбу на кривой объехали, трижды случай под себя кинули и людям показали – они местами и поменялись. Был случай, стала судьба. Такое уж у нас место: Яблонец…

– Слепой ты, Вацлав. Очи тебе зависть выжгла.

Редко говорила Ганалка Сторица. Особенно на людях. Видать, треснула душа пополам.

– Скажи-ка, Вацек: ты меня сильно любишь? Молчи, дурень!.. *Мне* не отвечай. Сердце женское, слабое, еще обижусь, а тебе после худо будет. Себе отвечай. О чем мыслил, когда плетень мне чинил, крышу? Бабу-соседку порадовать хотел – или родной семье добра желал? Мытарю, небось, тоже хабар суешь. И польза в том есть: лучше хабар дать, чем подать сполна платить. Только сильно ли гада-мытаря любишь, Вацек? Небось, будь твоя воля, поленом бы прибил, ненасытного. Молчишь, бедняга? Верно молчишь. Значит, дошло наконец…

Крупный, белый волкодав вдруг завыл, будто по покойнику.

– В ненависти, как в любви жить, это уметь надо. Не всякому дадено, – подвела итог Сторица. И прочь пошла, не оглядываясь. Домой, должно быть. Потому что никто не видел, чтоб молчунья Ганалка плакала, а значит, чего ей от народа скрывать?

А в другую сторону Мирча Сторица кинулась. Всхлипнула, руками лицо исцарапанное закрыла – и унеслась ветром. Северная Межа от выгона ближе других будет. Та, где вчера Ченек сгинул. Туда и бежала.

Опоздал баца. Вырвался бешеный Вацлав, вдогон ударился:

– Стой! Доча, стой!..

Догнал, за руку схватил. Да разве Сторицу против воли удержишь? Подвернулась нога у отца, хрустнула лодыжка. Лежи, дурачок. Кричи вослед, а гнаться-останавливать не моги. Слышишь: над головой – птичий вопль. Тревожный, призывный. Отовсюду слетались птицы: с Козины, с Мишульца, от дальней Поциновицы. Вокруг памятного сокола собирались: веди, вожак! Полнеба тучей закрыли, темно сделалось. Пошла тьма к Меже. Небом быстрее, чем землей – не торопясь пошла.

Два часа ждали люди, не сходя с места.

Дождались: ударил птичий клин в сторону овражного Бульчика.

Копьем.

– Двое Сторцев осталось…

– Значит, скоро третий родится…

– Верно говоришь…

Оглянулись яблонцы друг на друга. Особенно же пристально на баб глядели, которые на сносях. Кому судьба выпадет?..

* * *

– Наелся? – спросила Мирча Хортица, женщина, одетая в темное.

И, дождавшись благодарного кивка, ушла. Петер глядел ей вслед: вот она скрывается за возами, вот поверх тюков видна ее шляпа с узкими полями… Все время казалось, что должно произойти страшное. Эхо ужасного конца Мирчи Сторицы, конец дивной истории, аукнувшийся эхом прошлого крика здесь и сейчас. Птицы с неба. Молния, трещина в земле. Рой диких ос. Закономерный и трагический финал. Нет, ничуть не бывало. Меланхоличные волы трясли рогами, жуя жвачку, ярмарка затихала, падала в усталый, безголосый вечер… А на лютниста

уже бросал косые взгляды хозяин здешней обжираловки, устроенной без затей, на свежем воздухе.

Трагедия откладывалась.

Мертвецы вставали, раскланивались и шли ужинать.

Сыт до одурения, Сьлядек думал о странном. Сытым о таком думать несвойственно. А голодным вообще только хлеб на уме. Вот интересно, полюбит ли голодный сытого, если… Лгут, будто от любви до ненависти – один шаг. Там и шага-то нету. Ненависть баюкает, пеленает, подарки носит; любовь волком смотрит, нож за пазухой лелеет. Друг дружке сторицей воздают. Чувствуя, что лишается рассудка, бродяга затряс головой.

– Наелся? Ну и скатертью дорожка…

Это был хозяин. Рябой, голый до пояса детина глядел без приязни. Часто-часто моргал, хмурился. Словно жалел потраченного харча, прикидывал: не сунуть ли руку по локоть в глотку чужаку, не вытащить ли обратно зря потраченное добришко?!

– Эта женщина? – спросил Петер, вставая. – Вы ее знаете?

– Женщина? – удивился рябой. – Какая? Здесь баб много, разве всех упомнишь…

– Ну, со мной сидела! За меня платила!

– С тобой, за тебя… Ум жиром заплыл, дурик? Ты же мне пять грошей дал! Запамятовал?!

– Была баба, – вмешался горбун-сыродел, утирая с усов пивную пену. – Толстая. Вымя коровье, зад… Первое чудо света. В сарафане.

Сбоку встрял изрядно пьяный возчик:

– Ерунду порешь, горбатый! Вымя ему… Тощая она была, карга. Нос крючком. Или нет, это я по пути каргу встретил… Хозяин, поджарь карасиков!

– Пять грошей? Я тебе дал?! Покажи!

Петер грозой надвинулся на хозяина, но рябой не сплошал. Взял и показал. Пять грошей. Пять стертых, тусклых, честных монеток. Под хохот собравшихся: они впервые видели, чтобы человек требовал предъявить уплаченные им же самим деньги. Обычно случается наоборот.

И захохотали вдвое громче, когда дурила-однозимец, подхватив свою бренчалку, кинулся за возы.

Наверное, счастье догнать хотел.

Она стояла возле телеги с репой. Высокая. Строгая, одетая по-мужски. Разговаривая с пожилым крепышом: во время разговора крепыш постоянно дергал себя за редкую льняную бороденку. Найдет серебряный волос и дернет: поди прочь! Напрасное дело: слишком густо взошла седина. «Боженка ждет… – донеслось до

Петера. – Цыплят напекла, в сметане! со щавелем!.. Идем, Мирча, Боженка рада будет…» Едва Сьлядек подбежал, крепыш умолк. Оглядел бродягу с ног до головы, как бы прикидывая: дать в глаз, или так сгинет? Насупил косматые брови, заложив на переносье чудную складку: отпечаток детской пятерни.

– Чего надо? – неприветливо осведомился он. – Счастья? Иди, иди, здесь не подают. Здесь поддают…

Мирча тронула грубияна за плечо:

– Не обижай парня, Ченек. Это он Иржеку завидовал, я тебе говорила. Он сегодня уплывет, с плотогонами. Ведь уплывешь, бродяга? Тебя возьмут, плотогоны нынче добрые. Да и Иржеку ты угодил, значит, воздастся.

– Уже… воздалось. Ты накормила…

– Это пустяки.

Петер сглотнул ком, некстати забивший горло.

– Вас не может быть, – убежденно сказал он, указывая пальцем по очереди на Мирчу Хортицу и крепыша Ченека. Два раза указал, для верности. – Вас не должно быть. Вас нет. Я умираю от голода, и вы мне чудитесь.

– Нет нас. И не было. Умирай себе на здоровье.

– Вас нет!

– Хорошо. Успокойся. Нет, значит, нет. Но пока мы здесь… пока мы есть, даже если нас нет!..

Мирча Хортица сделалась очень похожей на суку-охотницу, которой осталось два-три прыжка до загнанной добычи. Зубы оскалены, шерсть дыбом, меж клыками течет жаркая слюна. Вот-вот вцепится.

– Слышите?! – она грозила кулаком небу, ногой топтала землю, ища врага и не находя. – Эта зараза никогда не выйдет за Межу! Никогда! Если у вас хватило подлости! издевки! злорадства! – то у нас хватит и времени, и сил! Не замечаете нас? Умыли руки?! Ладно… Но Межа останется навеки!

Петер отступил назад:

– Вы сторожите Межу?

– Нет. Мы и есть Межа.

– Я не понимаю…

– И не надо. Бывают вещи, которые лучше не понимать, а принимать. Или просто знать: ни один Сторец или Сторица не выйдут в мир за очерченный предел. Земле вполне хватит единственного села, где живут счастливые люди. Даже этого много, если честно… Иди, парень, к плотогонам, они тебя возьмут с собой.

Уходя, сделав шаг, другой, третий, Петер Сьлядек обернулся. Они никуда не делись: Мирча и Ченек. Беспокойные души,

сторожа границы, слабые, сильные люди, кто не выдержал испытания жестокостью любви и угодливостью ненависти. Игрой с коварным, сверхчеловеческим названием «Аз воздам». Или, напротив, те, кто выдержал с честью. Выиграв там, где выигрыш невозможен, упав на Меже зернами непроходимого, неподкупного частокола.

– Можно, я сыграю для вас? – спросил бродяга.

– На удачу? – сощурился Ченек, копаясь в бороде.

– Нет. Просто так.

Ченек озадаченно хмыкнул, а Мирча рассмеялась.

– Играй, – разрешила она.

– Цыплята, – напомнил Ченек. – Стынут…

– Ничего твоим цыплятам не сделается. Играй, музыкант! Танцевать хочу…

Весь дальнейший путь Петера Сьлядека был легким и счастливым. Он не всегда знал об этом, не всегда верил, но это было правдой.

Баллада веры

Когда я от тебя куда-то денусь
И растворюсь в безвидности; когда,
Качнувшись на ребре, – не в масть! не впрок! —
Мир упадет под ноги стылой решкой,

А небо распахнется рваной брешью,
И притворится рок кублом дорог;
Когда мы бросим мимолетный взгляд,
Как от барьера в лоб бросают пулю,

Когда мы проморгаемся вслепую,
Проселком неухоженным пыля,
И обнаружим, что пуста земля,
Что дух давно над водами не рыщет,

Удачлив Йов, роскошествует нищий,
Бастард в гербе рисует вензеля
Короны, и незыблем столп династий,
Срок жизни долог, изобилен дом,

Всё хорошо, всё в мире дышит счастьем,
И только мы друг друга не найдем,

Что, впрочем, пустяки…
Тогда – кричи.
Приду с утра. Нет, в полдень. Нет, в ночи,

В любое время суток, сквозь года.
В конце концов, что значит «навсегда»?!